

Е.Н. Обоймина, О.В. Татькова

Денисьева Елена

(1826–1864)

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

Ф. И. Тютчев

Вглядитесь в ее портрет... Она присела у зеркала, словно после бала, и, только-только успев снять нитку жемчуга, повернулась к вошедшему. «Я очи знал, — о, эти очи!» — скажет он о ее глазах.

Невольно вспоминается образ другой женщины XIX столетия — Натали Пушкиной. Та же прозрачная воздушность бального платья, то же роскошество обнаженных плеч... Обе молоды и обе любимы поэтами. Но посмотрите внимательнее в глаза Натали (тоже — воспетые в бессмертных стихах!) — каким душевным покоем они дышат, сколько в них ласкающей мягкости! Окиньте хотя бы мимолетным взглядом известную на весь Петербург великосветскую красавицу — сколько земной устойчивости в тонком стане и прекрасных плечах, сколько женской уверенности во всей непринужденной позе... На лице «любви опального Пушкина» одна только прославленная прелесть, неомраченная тяжкими раздумьями о трудной и запутанной судьбе. Она — жена, и этим сказано многое.

Судьба Леночки Денисьевой — в ее глазах. Огромные, глубокие, чего-то ждущие, они хранят непроходимую боль так и не сбывшегося до конца счастья. Но все-таки — счастья.

И совсем не после бала присела она к зеркалу — ее давно не принимают в свете. Ее отлучил от себя даже родной отец. Растворилась дверь, и сейчас войдет он. Седовласый. Неповторимый. Принадлежащий только ей. И — чужой... Для него воздушность платья, роза на груди, браслеты на запястьях и нить жемчуга, которую не успела надеть. Для него эти глаза, смотрящие открыто и вместе с тем обращенные глубоко в себя.

Елена Денисьева родилась в 1826 году, в старинной, но обедневшей дворянской семье. Она рано потеряла мать, а с отцом, Александром Дмитриевичем Денисьевым, и мачехой ее отношения не сложились. Вспыльчивая девушка была спешно отправлена в столицу, на воспитание к тетушке Анне Дмитриевне Денисьевой — старшей инспектрисе Смольного института.

«Анна Дмитриевна, чрезмерно строгая и сухая с подчиненными и воспитанницами, страстно привязалась к племяннице, — пишет Светлана Макаренко, — по-своему баловала ее, то есть рано начала покупать ей наряды, драгоценности, дамские безделушки и вывозить в свет, где на нее — изящную, грациозную брюнетку с чрезвычайно выразительным, характерным лицом, живыми карими глазами и очень хорошими манерами, быстро обратили внимание и бывалые ловеласы, и пылкие “архивные юноши”...»

Но тут на ее горизонте появился Федор Иванович Тютчев, чьи дочери также учились в Смольном, и «архивные юноши» были забыты сразу же и навсегда. Скандал разгорелся в марте 1851 года, почти перед самым выпуском и придворными назначениями. Елену Денисьеву ожидало место фрейлины при дворе и вполне обеспеченное будущее. Но о ее связи с Тютчевым стало известно управляющему Смольного института, который напал на след квартиры, снимаемой поэтом для тайных свиданий с Еленой Александровной.

К тому же смольнянка Денисьева уже ждала ребенка... Тетушку Анну Дмитриевну поспешно выпроводили из института, назначив пенсию.

Такой оказалась судьба Леночки Денисьевой... Она часто вспоминала гнусавый шепоток за спиной, нескрываемые насмешливо-презрительные взоры. «Толпа вошла, толпа вломилась в святилище души твоей», — скажет он. Святилище души! Постигнул ли он до конца при ее жизни величие этого святилища? Так отказаться от всего, на дороге к своему тридцатилетию уйти в уединение, в отречение от былых радостей, и все это ради него — женатого человека. Он так и не решился оставить ради нее семью, «милую кисаньку Нести» — свое «земное провиденье», к которому возвращался всякий раз после этого дома. Не оставил... То ли считал это подлостью, то ли просто жалел. Или тоже — любил?

Он, конечно, сознавал свою вину перед ними обеими, восклицая: «О, как убийственно мы любим!» Он был мучим своей виной. Он сожалел. О чем? Вероятно, о том, что случился на ее жизненной дороге. О том, что не нашел в себе силы ни соединиться с ней навеки, ни отказаться от нее навсегда. Впрочем, о первом она наверняка не заговаривала, а второго попросту бы не позволила. О, какая сила таилась в этом хрупком святилище!

«Какой бездонной глубиной, какой страстью и самозабвенной преданностью обернулась безмятежная легкость большеглазой смольнянки! — писал о Елене Денисьевой Юрий Нагибин. — Она сразу превзошла его в мощи, цельности и одержимости чувства».

Она родилась, когда ему было двадцать три, и по возрасту годилась ему в дочери. Но странное дело: нигде, ни в одной строке из обращенных к ней Тютчев не подчеркнет своего старшинства. Он говорит с ней как равный с равной, ибо «союз души с душой родной» перечеркнул, стер их возрастную разницу. В прекрасном стихотворении «Предопределение» он напишет:

И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет, наконец...

Предвидел ли он со свойственной великому поэту прозорливостью ее раннюю смерть, нелепую кончину одной из женщин, принесших столько жертв на алтарь единственной любви? Или он говорил здесь о себе? Мы не знаем.

Одно известно: ее участь он называл более завидной. Такой слабый по сравнению с ней, не желающий принести ни единой, пусть даже малой жертвы, он считал ее счастливее себя.

Возможно, она и была счастливей. Элеонора Петерсон, так рано ушедшая; Эрнестина Дернберг, с которой он изменял Элеоноре и которая потом на себе испытала в полной мере унижения и страдания обманутой жены; Амалия Крюденер, которой он еще посвятит знаменитое «Я встретил вас»; а может, еще какая-нибудь обладательница его влюбчивого сердца — его хватило на всех. Сердца Леночки Денисьевой хватило только на него одного. Любовью к нему она горела четырнадцать лет, не зная ни покоя, ни забвения, ни иного огня. Горела, пока не сгорела дотла.

Он не раз признавал, что не стоит ее любви. «Пусть мое она создание — но как я беден перед ней...» Что могла она ответить на это? Все, о чем он думал, чем он дышал, — в его стихах. И чувство вины, и глубочайшая к ней привязанность, и признание высоких качеств ее души, и даже поклонение — все это можно найти в цикле, посвященном последней любви поэта, его любимой женщине.

О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность...

Безнадежность — потому что общего будущего у них не было. Просто не могло быть.

Его стихи... Как часто упивалась она поэтическими словами, обращенными к ней, наполненными такой безысходной болью, такой тревогой и нежностью, что перехватывало дыхание. Его стихи были единственным оправданием ее жизни, и как будет терзаться он тем, что не понял этого вовремя! Потом, когда ее не будет...

«Я помню, раз как-то в Бадене, гуляя, она заговорила о желании своем, чтобы я серьезно занялся вторичным изданием моих стихов, и так мило, с такой любовью созналась, что так отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя (не имя, которого она не любила, но она). И что же — поверите ли вы этому? — вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение, мне как-то показалось, что с ее стороны подобное требование не совсем великодушно... За этим последовала одна из тех сцен, слишком вам известных, которые все более и более подтачивали ее жизнь и довели нас — ее до Волкова поля, а меня — до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке... О, как она была права в своих самых крайних требованиях, как она верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при моем тупом непонимании того, что составляло жизненное для нее условие! Сколько раз говорила она мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, но что будет поздно. Я слушал и не понимал. Я, вероятно, полагал, что так как ее любовь беспредельна, так и жизненные силы ее неистощимы — и так пошло, так подло на все ее вопли и стоны отвечал ей этою глупою фразой: “Ты хочешь невозможного...”»

Вопли и стоны... По-видимому, Денисьева была больна истерией — больна серьезно, в той мере, о какой не подозревали ни она сама, ни ее любимый поэт. Не только чахотка постепенно сводила ее на нет — душевные силы, подорванные обстоятельствами несправедливой судьбы, день за днем отнимала нервная болезнь...

Желание Елены Александровны непременно увидеть свое имя в посвящении к стихам очень человечно и понятно объяснил Ю. Нагибин: «Словно в них одних (стихах Тютчева) находила она искупление своей грешной, в нарушение всех Божеских и человеческих законов, жизни. Существовала ли на свете женщина, настолько созданная для прочных радостей замужества и материнства, как Елена Александровна? Теплая, искренняя вера отличала ее, и лишь крушение внутренних устоев опалило эту веру мрачным фанатизмом».

Как непростительно мало мы ценим то, что имеем! Любимая женщина оказалась прозорливее поэта: раскаяние явилось страшным, неукротимым, небывалым в его жизни страданием... С ее уходом Федора Ивановича словно покинули жизненные силы. Он разом постарел и осунулся. Но стихи — его великая поэзия — стали еще глубже и пронзительней.

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?